

БОРИС ФИЛИППОВ



ВЕТЕР
СВЕЖЕЕТ...



СТИХИ «
ПРОЗА

Борис Филиппов

БОРИС ФИЛИППОВ

ВЕТЕР
СВЕЖЕЕТ...

Стихи и проза

1969

Обложка работы художника Николая Сафонова

Copyright © 1969 by author

Printed in Germany.
Possev-Verlag, Frankfurt/M.

Парус лодчонки дряхлой на древнем море,
древняя влага любви и солнце рябое под ветром, —
о глаза, глядящие в перевозданность, —
любимая, подыми свой сверкающий парус!
В небо летит напряженность страсти,
тело ж бескрыло — ему за ней не угнаться:
дряхлая лодка, но парус влечет ее в море:
любимая, ветер свежеет. А солнце...

1967

БЕЗСЫНОВНОСТЬ

...где пухом острова
серебряные убраны богато,
где в иглах инея грустит трава,
вчерашний сон гостит запанибрата.

Где пазорей мерцающий венец
над гладью льдин, где крови нет заката,
где Сына нет еще — один Отец
суровый Бог, дремучий и сохатый.

Надтреснут голос — вьюги так поют,
швыряя комья пуха и алмазов,
и маленький, в мехах оленьих, люд
заслушается стынущих рассказов...

1958

В СТЕПИ

На буферах, конечно, безопаснее. Санька усадил жену на буфер товарного, накрепко наказав ей безотрывно держаться за щель в обшивке вагона. Для пущей устойчивости связал ей ноги в щиколках. Сам полез на крышу того же вагона. Его мигом осадили:

— Ты что́, — командировочный?

— Дак по командировкам — те в самих вагонах...

— Хватил! Так те и напасется советская власть на всех командировочных вагонов! Крыши товарных — и то хлеб. А ты, браток, катись колбаской на крышу пассажирского.

— Дак покато там, склизко.

— Тебе виднее: не хошь — не едь.

Видимо, вся Россия сорвалась с колков да и понеслась куда-то в никуда: хлеба ведь весной 1922-го все равно не было нигде. И все же, прихватив какую-никакую менку — кто заношенную с пропотелыми подмышками гимнастерку, кто помятый жестяной хрипун-граммофон, кто пронафталиненный плюшевый бабкин салоп, — обсели дребезжащие, ощеренные поезда, почасту отваливаясь от них, как пьявки от утопленника. И никто их не подбирал: не до мертвых.

Санька с домодельной торбой за спиной распластал ладони, до боли вжимая их в покатую крышу пассажирского вагона. При каждом толчке с ужасом замечал, как медленно, но неуклонно сползает. Липкий пот покрывал его с головы до ног. Господи, доехать бы! Опять, кажись, сползаю... Ну, нет! — и нечеловеческим напряжением всего истощавшего тела, всей иззябшей души, он резко подался назад.

— Куды тóркаешься, сволóта! сиди, где примостился, к другим не лезь. Небось, с тебя вшей не оберешься...

Кругом люди, люди, люди... Откудова их столько берется? Те, что посередке крыши, особливо у труб, чувствовали блаженную устойчивость, — даже болтали. Грудастая, облапившая трубу, молодка жаловалась:

— На базаре-то вчерась... Принесла кофту атласную на менку: двух фунтов хлеба не дали.

— Обезбожил Божий свет...

Долгоногий старик никак не может приспособиться: ноги мешают ему самому и соседям:

— Ну, к чему ты едешь, дед. Убери оглобли, чтоб тебя... Помирать пора, а туда ж — прет с народом...

— Приберет Господь — тогда и помру.

— Упразднили, дед, Бога-то твоего. Не могёт Он, Бог-от твой, управиться с миром: эва, сколько с голдухи ноги протягивают. Сам сыздетства помню: «Хлеб наш насущный» ...А гдей-то он, хлеб-то?

— Так один-одинёшенек Бог-то остался. Покинул Его народ. Ну, и одиноко Ему. Скучно. Вот тебя коли все позабудут, — как тебе-то будет? А Бог — Он всё терпит...

Голая голодная степь. Ползущий по ней безнадежно-голодный поезд, разбитый, глухо харкающий. В степи нет даже прошлогодних сохлых остовов бурьяна — всё сожжено, сожрано, сжевано. Толчок. Что есть силы Санька уперся клейкими боязливыми ладонями в крышу.

— Слезавай, ребята. На́ гору не пойдет поезд. Топка кончилась. — Машинист в засаленной кожаной фуражке и заплатанной солдатской шинели без хлястика равнодушно чистил рябой кирпаты́й нос.

— Постарался бы для народу... Може, протянешь хоть до полустанка: по степу ведь никуда не двинешься...

— А сам-то, после пяти дён без шамовки, полез бы ты на бабу? Паровозу тоже жрать надо. А тут, вишь, еще на́ гору...

Санька нехотя сполз с крыши. Ноги, словно с попойки, еле шевелились. Тело ныло и часто-часто покалывало — не так чтобы больно, но отвратно. В голове гудело. Поразмявшись и хватив ртом сырого воздуха, он двинулся к вагону жены. Поверх буфера торчали только связанные мочальной веревкой ноги. Жалкие в своей беспомощной наготe, они были невыносимо одиноки.

— Клаша, Клашенька, ну, что́, ну, как же эт... эт-то, — заклокотало в горле у Саньки.

— Закачало, значить, бабенку, ну и первернулась. Голову-то и тулово, значить, по шпалам и размочалило. Начисто, значить, — как-то особенно спокойно и деловито пояснял жердеобразный старик, приплясывая на одном месте, чтобы ноги отошли.

— Да чегой ты, браток, жалкуешь, — хохотнул какой-то посытее, даже в сапогах с брезентовыми голенищами, — главное-то бабье тебе осталось, для ночи, сказать прямо, — а днем ей жрать не надо — выгода...

— У, кобели проклятушие, и тут регочут, — злобно оборвала шутника костлявая баба с чахоточным румянцем и неистовыми глазами.

— А хоронить-то ее как?! — Ведь одни ноги...

— Ну, теперь, парень, не царский режим. Откажется поп служить по ногам панафиду — к ногтю его, паразита...

Над грязно-бурой степью висело грязно-серое голодное небо Одинокого Бога, забытого Бога — — без Сына и сынов.

1967

НИЧЕГО ОСОБЕННОГО

Когда председательствующий, злой горбун Фролов, огласил постановление суда, кротчайший Константин Иванович не выдержал:

— Как же вы можете обвинять меня в антисемитизме: ведь я и женат-то на еврейке...

— Может, потому-то вы и антисемит, — огрызнулся судья.

А уже в лагере НКВД, в проектном бюро, Константин Иванович, с застенчивой милой улыбкой на широком скуластом лице, показывал врученные ему, по всем правилам чекистского этикета, копии писем жены и тещи хозяину:

«Дорогой и глубокомудрый наш Иосиф Виссарионович, — писала теща, — по всякой мере возможности возвратите нам с моей единственной дочерью пролетарского рабочего происхождения как отец был портной без наемного труда, всё своими руками, нашего мужа и зятя-инженера Попова Конст. Ив., который только по фамилии Попов, а сам не сын служителя культа, а рабоче-крестьянского происхождения и сугубо необходим моей Фане по физической и душевной линии, а не антисемит и не антисоветский элемент, а совсем даже наоборот»...

Года через полтора Попов пришел на работу весь зарёванный — и долго не мог ничего рассказать: — Осудили Фанечку. На пять лет. Как жену контрика... А что теще-то: старуха: по миру только... Ведь даже читать не умеет. Заявления ее Сталину ведь Фанечка писала: от себя боялась — она у меня тихая... Я все-таки инженер, — как-то протяну, даже без посылок из дому, а она — она у меня слабенькая, и в лагере... Ну, как и кем она в лагере будет — и с кем?! — загонят к проституткам, воровкам... И без посылок — кому же ей посылать?..

— Ну, успокойтесь, — подошел к Попову старший инженер Кудряшов: — ничего ведь особенного: и сроки у вас с женой детские: всего-то шесть да пять лет: повезло вам еще. Вот мне Сталин жизнь решил продлить: в мои шестьдесят семь получил я полную катушку: двадцать пять. И жена — десять. Ну, не плачьте: ничего ведь особенного...

1967

В ТАЙГЕ

Сергей перекрестился: кажется, пронесло. Тайга — чахлая, но коварная. Нужно знать ее наизусть, чтобы не заплутаться. А по тропинкам не пройдешь — то и дело дозоры охранников. Только через торфяные болота, с кочки на кочку. Да и то: перескочишь, ан то не кочка, а пышная болотная зелень, и завязнешь так, что еле ноги вытянешь. Сухари кончились давно, подмерзшая клюква насыщала скверно. Господи! Только бы не попасться! Опять на лесоповал, опять на штрафную командировку, да еще привесят за побег лет пять — не меньше.

— Стой!

Ну, вот оно, чего больше всего опасался Сергей. Легче уйти от охраны, чем вот от них, местных зыряков. Они, черти, и все торфы свои наизусть знают, и от лагерного начальства получают за каждого пойманного бегунца и деньгами, и водкой.

— Заворачивай, паря, нечего. — Старая берданка подталкивает Сергея. — Ты, паря, православный?

— Нет, мы — по старой вере.

— Мы тоже. Ну, перекрестись, что не дашь дёру, — пойдем попросту, не буду тебя вязать. По-божецки.

Сергей перекрестился широким, медленным двуперстием. Маленький крепыш зырянин внимательно всматривался в каждое мельчайшее движение руки беглеца. Удовлетворенно крикнув, одобрил:

— Ты правильной веры. Так и у нас на Ижме. У нас, паря, и комсомол во всей деревне только один, и то хромой. Вот Бог-от и подмогает нам. Без вас, беглых, разве ж можно было б прожить? Раньше что белки, что зайца-от было, соболя тоже попадались. А теперь — всё в колхоз сдавай. И кроме белки разве что зайчишка. И рыбу сдавай, и репу. А водку в кои веки в сельпо привезут, или декалон. А за всякого пойманного, однако, — две бутылки и еще деньгами. Посылает вот Господь на нашу бедность...

— Тёмно, совсем поздно становится. Как ты нашей веры, то переночуем у меня, а уж завтра сдам тебя на ближайшую командировку. Пойдем, паря. Гостем будешь. Тебя как кличут, однако?

— Сергей.

— Хорошее имячко. Правильное.

— А тебя?

— Ну, знамо дело, Степан. У нас все Ивановы да Степаны. Про Степана — нашего святого — слышал?

— Слышал.

— Ну-ну. Хороший был святой. Волки, медведи его слушались, однако. Придет, благословит реку, — наши-то мужики что рыбы наловят — девать некуда. А сам обыкновенно сидит на бережку и улыбается — людей жалеет. Сам только морошкой да клюквой и кормился.

— Пожалел бы ты меня, Степан. Отпустил. Ради Христа — отпусти.

— Не могу. Никак. Я подпис дал. Начальникам. А раз дал — никак. Не могу. Сам должен понять — подпис. Да и то: не сдам я тебя — баба моя тебя выдаст. Она водку давно ждет, однако.

— А Христос-то как велел, — начал было Сергей, но Степан хмуро и сердито прервал:

— Какой Христос? Нету Его. Распяли. А как воскрес, то нашел Его Никон — еще крепче велел гвоздями к кресту прибить. И — чтоб крепче было — еще имя велел переменить Его святое: вместо Исус — Иисус написать: не тот-мол, однако. Вот и осерчал, значит, Бог, одиноким остался, Сын-то у Его один-одинёшенек был. Без Сына теперь. И отвернулся от мира. Одинокий, скучает, и миру скучно: как в доме без сына. Вот и у бабы моей никак никого. Скучно нам.

— Ну, однако, пришли. Отворяй, баба! Гостя-бегунца привел.

В избе, сложенной из первозданного кедра, было хоть глаз выколи: в закопченном углу мерцала зеленая лампадка перед черным образом, да маленькая керосиновая лампа без стекла бросала колеблющиеся блики на могучие бревна стен. Густо несло рыбьей тухлятиной и чем-то пронзительно-кислым.

— Ну, Сергей, пришли. Отдохни, значит, до завтра. Сейчас баба тресочки даст, кипятку. Ну, вот, благослови нас Святая Троица: Исус, Никола да Богородица. И святой Степан наш — благослови.

Поели. Мрачно и молчаливо. Баба за стол не садилась — подавала. Поела после одна, стоя у устья печки. Степан уныло рыгнул, перекрестил безусый рот, помолчал долго и томительно.

— Вот что, паря. Жалко мне тебя, однако. Ну, ведь всё одно, — поймают. Отпустить не могу. Добёр бобёр, да и шапка с бобра добра. Да и куда тебе идти?! И тайги ты всё одно не знаешь. Поймают. Не я, так другой. А я подпис дал. Опять же баба моя, однако, выдаст. Баба — она баба и есть. Знаю: тяжко-от в лагере. И всё одному. Без бабы своей. Так последнюю ночь переспи с моей. Жалко мне тебя. И по нашей вере ты. А баба — она баба и есть.

В жестяной лампёшке керосин был уже на исходе. Она мигала всё беспомощней и беспокойней. Степан зевнул, опять перекрестил распяленный рот, положил — на всякий случай — рядом с собой берданку и стал разуваться. Перед черным Одиноким Безсыновним Богом еле теплилась зеленая лампадка.

1967

Девять мертвых нищих старух
из-под Федора Стратилата
ковыляют на Страшный Суд.
Взгляд стеклянный давно потух,
спина истомленно-горбата,
ртом беззубым репу сосут.
Путь морозный хмур и сух.
— Жизнь, о Боже, наша богата:
— испустили с голоду дух.

— Суди нас, суди нас строго — —
— за отвар из мерзлой капусты,
— за жизнь, забытую счастьем.
— Не девять — нас много, много, —
— бескрылые души пусты, — —
— безносого дети ненастья.
— Забыты, забыты Богом.
Жадно жамкают репу, капусту,
стоят, гнуся у порога:

одна — кисть кровавых рябин,
другая сует кочерыжку,
а третья — мальчишеский гроб,
подгнившие листья осин,
жмыхи и овсяную пышку

и венчик, надетый на лоб:
— На фронте пропят и мой сын,
— кровавую вспомни отрыжку — —
— суди — — и останься Один.

— Наш путь — по себе, не в Твой рай, —
— за грешным иду я мальчишкой,
— за голодом смятой душой.
— К чему просфора-каравай? —
— мы слезною сыты коврижкой, — —
— не нужен нам сытый постой!
Назад идут в выжженный край,
костями гремит гроба крышка:
не страшен им Суд — — страшен рай.

1941

УГЛЫ

...сидел — и без мысли, без чувства, с тупым отчаяньем глядел в угол: умрет. Ничего от него не останется. Написанное им будет одиноко тлеть на полках, ненужное, мертвое больше, чем подгнившие ноябрьские листья на грязном асфальте нудного пригорода. И всё, чем он болел, что всю жизнь терзало и радовало его, умрет с ним, с его вчерашними озарениями — зеленовато-желтым миганьем лампы в сумеречной конуре бездетного.

А из противоположного угла уставился на него Он, невидимо-ощутимый, как щемящее сердце, как неподъемная боль в обреченном затылке:

— Я тоже без Сына. Вечно одинок в одинокой вечности. Голгофа Сына предвечнее искупления. Предвечная безсыновность — предельнее оставленности.

Из двух углов друг на друга. Но никогда — друг с другом.

1968

ВЕТЕР СВЕЖЕЕТ...

Золотой сквозящей лесенкой —
листьями осенними по дороге в рай, —
серебром звенящей песенкой
не вызванивай, не зазывай.

Только снегом расстели дороги,
Только зимние построй мосты,
чтобы звонкие бежали ноги,
чтобы смехом рассыпалась ты.

1962

Шелестящий, шевелящий,
обрывающий, свистящий —
уцелеть бы, уцелеть!

Дождь сечет, сбивает ветер:
неприветливо на свете:
дай хотя б взлететь!

Мы в лохмотьях, мы в охлопьях,
в оборванцах и холопьях —
только бы не смерть!

С воробьями под карнизом
понахохлившись сидеть, —
то ли верхом, то ли низом,
грязнобурым мокросизым, —
но не умереть...

1963

Вот в эту дымкою подернутую даль
стремит душа последних содроганий
небритые с сединкою холмы,
ручья иззябшего тоскливые колени.
Все это так. И в эту стылость утр
бежит поток с ноябрьскою листвою
воспоминаний блеклых и утрат
багряно-медных и кроваво-ржавых.
Повремени, холодное, всходить! —
пусть седенькое обовьет туманцем
томление стареющей земли
и памяти заросшие бурьяном ржавым
всхолмленья хмурые...

1967

Сколько клюквенного дыма
в опереньи серафима!

Опирается на меч
Михаил, водитель сеч.

Латы златы, и палаты
тароваты и богаты:

охраняет он Престол:
Божий трон и русский стол.

Льется скатерть русских брашен
на раздольи русских пашен:

золотой духмяный хлеб
и вино Господних треб,

яблок пестрых самоцветы —
стародавние заветы:

не красна изба углами — —
пирогам, пирогам!

Михаил Архистратиг
меч запрятал и утих...

Цвета песенного сада
перед образом лампада.

А хозяйка чуть полна —
океанская волна:

груди — кувшины вина
(без вина душа пьяна),

очи — сказок хоровод,
губы сладкие как мед —
жизни радостный кивот!

Михаил Архистратиг
меч запрятал — и утих...

1968

ИТАЛЬЯНСКОЕ ЛЕТО

Не об искусстве Италии —
оно говорит само за себя
лучше,
чем рассказы о нем, —
а просто — —
дневник...

МИМОЛЕТНОСТИ

1. ГЕРАКЛ

Эллинский барельеф в церкви S. Maria Sopra Minerva

Пальцы хрустнут — хрустнет позвонок, —
убиваемый, любимый — нет спасенья...
Весь — напряженность, и в первозданность —
пальцы ног,

когти лапы раздирают темя.

Зверь мой, лев мой — затворил глаза,

гривы дух пьянит необоримо:

факел вверх — в крови любви заря,

факел вниз — в крови любви развязка.

Смерть — твоя ль, моя ль — — уже равно:

пальцы хрустнут — хрустнет зверя выя...

2. ФРЕСКА В ЦЕРКВИ ЧЕТЫРЕХ УВЕНЧАННЫХ

Трое — с озабоченным челом —

мчатся, взмыливая лошадей, к попу Сильвестру,

лезут в гору, рвутся в Квиринал:

— Исцели Царя, святитель Папа! —

Луч скользит сквозь прорези бойниц:

белый клóбук — Кесаря даянье, —
мула Папы Кесарь под уздцы
в шествии ведет на стогны Града.
Град пресветлый — седмихолмный Рим,
ты вовек неотделим от Папы:
белый клóбук купола Петра,
миродержец Рим — даянье мира.

3. ОКОЛО ПАНТЕОНА

Дранные и мрачные кошки Пантеона
бродят средь любовников, волоча хвосты.
Тучный итальянец продает иконы,
сувениры Рима, медные кресты.
А над мощью купола неохватность неба,
грузно кучерявится кипень облаков,
торгаши и кошки рыбы ждут и хлеба
от гордыни каменной суеты веков.
Обнимай подружку на ступенях храма,
но не позабудь кота и торговаша...

4.

Аполлон играет на гармошке...
Разве должен Аполлон быть бритым?
Мамма миа разложила груди на окошке,
в ресторане уличном бродят, вьются кошки
с видом независимым, нищим или битым.
А мальчишка собирает баянисту плату —
Ганимед зачучканный в ситцевой рубашке,

и с глухим шуршаньем падают бумажки,
тусклые копейки бывшему солдату.
Ах ты, Рим! — ведь рядышком храмы и палаты,
и белье полощется на монастыре,
фрески в подворотне склада тусклой ваты —
жизнь, простая жизнь — — и важные прелаты,
кошки и гармошки — всё на алтаре...

5. НА ПОНТЕ ВЕККИО

Иоанн Креститель в лохмотьях заправского хиппи
поет собравшимся вокруг форестьерам
сладостным тенором «Ай лав ю».

Стемнело. Осталось нас трое:

певец,

старик с наплаканными глазами

и я.

И Креститель запел вдруг другим голосом и другое —
не уличное, не оперное, не церковное —

простое

как небо и хлеб,

густое и пьянящее

как кровь и вино,

то, что никогда не забудешь:

— Это песнь не Италии, это песнь моей прародины:

— я — еврей из Ливорно.

6.

У моей соседки во флорентийском пансионе —
негритянки-туристки из Чикаго —
черный звонкий пудель на меня весело лаял,
когда я шел мимо
поутру в душевую.
А его полуголая хозяйка
улыбалась мне фаянсовыми глазами.

7.

Может разве мистика гнездиться
в радостной и развеселой Съене?
Нет, скорее в затоваренной богатством
чванной родине тощего Алигьери.
И на площади — обожженной солнцем миске —
бродят немцы тучные, вприпрыжку бегут
и бруклинец-итальянец тонко англичанки,
запевает арию Манрико.
Экко кьеза! — Полосатая как зебра
и прекрасная как Приснодева:
даже стадо сонное туристов
оживилось и зашевелилось.
Мерной поступью шествует гордый конный рыцарь
в Синьории,
а за ним нестройно несутся поджарые гёрлсы,
и хозяин кабачка лениво
цедит белое вино в бокалы: — —
— ну, к чему так торопиться, люди? —
жизнь и так бежит неукротимо. —
Ловким жестом подхватил монету:
— Грация, синьоры. До свиданья!

8.

Он возник среди башен Сан Джиминиано —
красавец цветущий в одеждах доминиканского падре,
таких белоснежных,
как на фресках Симоне Мартини,
выбритый до синевы, вкрадчивый и лукавый.
Покорил сердца ветшающих туристок, —
и на церковь посыпались обильные приношенья.
— Вы, падре, не монах, а чистый Дон-Джованни...
— «А разве это плохо?»

9.

Тиной и рыбой несет от каналов,
и коты здесь не дикие, как в Риме,
а сытые, очевидно, одним запахом
густой и едкой ухи Венеции.
Полосатые телки гондольеров
облагают торсы обрюзгших атлетов,
и вода полощется повсюду, —
зеленый навар злато-бурой отставной царицы,
нежашейся на изумрудном ковре Адриатики.
На площади Святого Марка оркестрики ресторанов
играют вальсы Штрауса и Грека Зорбу,
и скрипач вдвое складывается в поклоне
публике, лакающей пиво и кока-колу.
А официанты с лицами Сенек и Платонов
налету подхватывают грошовые чаевые,
и даровые слушатели-венецианцы
толпятся поодаль,

хлопая музыкантам оглушительно-дружно.
За день набегаешься по хоромам и храмам
до мозолей кровавых и кровавого пота,
а вечером слушаешь на каналах гармошку
и хрипотцу певца, уставшего за день.

10.

Глоток вина, горбушка хлеба, винограда кисть — —
и облака над дремлющим Торчелло...
Всё зелено. И старый гондольер,
зевая, крестит рот над тинистым каналом.
А ящериц! — не счесть их средь камней
и даже в придорожной траттории.
А в храме солнечном на небе золотом
синеют Богоматери одежды.
И черти синие беззлобно и слегка
терзают грешников —
по долгу службы только:
ведь грех на Адриатике необорим,
а жизнь так сладостна под твердью изумрудной...
И снова небо, Адриатика, земля
обильная, любимая...

11.

Таксист возил меня по всем церквам Равенны.
Он — старый коммунист, был на войне в России:
Дниэпро-Пьетро... Говорит по-русски:

комси-комса, две яйца и здорóво.
— Вы русский? Как же так — не коммунист?! —
Мы пили с ним вино:
— А вот наш падре:
он — поп, но он хороший человек:
он любит девочек — кому какое дело? —
ведь это — жизнь: девицы и вино.
А я уж вышел из игры: вино — и только... —
И снова храм: Святой Аполлинарий,
далекий, на окраине Равенны:
на нас глядели овцы и деревья
на зелени такой, что больно глазу, —
и крест над ними высился огромный...
— Как жаль, что вы не коммунист...
А впрочем...

12.

Ну, разве это готика — в Италии?! — —
Вширь почти так же, как ввысь:
нет той устремленности за облака, как на севере:
ведь земля так сладостна и любвеобильна,
а небо... да, ласково, но ведь далеко, далеко...

13.

Разве можно пить кьянти в Риме
и фраскати на улицах узких флорентийских?
Пейте местное вино, синьоры,
и познаете душу города и народа.

14.

На возглавии горы гордый замок —
полуразрушенная твердыня,
и рядом — стог сена,
словно бокал, опрокинутый вверх тонкой
обломанной ножкой.

А вокруг скалы Умбрии, покрытые лишаями леса,
как на картинах Пьеро делла Франческо.
Господи, много даровал Ты творцам Италии,
но Твое творенье куда прекрасней!

15.

И сейчас Святой Франциск проповедует птицам:
птицы повсюду — на всех зубцах башен Ассизи,
а поутру, когда стелется туман над горами и
долиной необъятной.

они щебечут так весело
(и всегда в такт)

каноны Святому Франческо.

Как широко! Как мир неохватен!

Как сладостна земля Франциска и Кьяры!

И под твоим окном, любимая, птицы

свили гнездо в расщелине стены ветхой.

Я один без гнезда, одинокий...

1968

САНТА КРОЧЕ

— Ну, вы-то, конечно, земляк. Хоть и из Америки, но не американец. Я ведь тоже не Карло, а Карп. Как попал сюда? Долго об этом рассказывать...

— Минестроне, синьор? Вино — белое или красное? Свежие фрукты? — — Чезаре, вино синьору...

— Вот детей у меня трое. Два сына и дочка Маша. Жена очень хотела одного назвать Джузеппе. Но я на дыбы: никаких Иосифов: с меня хватит... Родился я в Прикумске. Назывался он раньше Святым Крестом, а рядышком с ним — большущее уездное село Прасковья. Винá у нас! У иного мужика бывало: домишко — так себе — и не поверишь, что под ним подвал на цельную клубную залу. А в нем бочек до-дурá — не сочтешь. И бочки-то все на сорок, шестьдесят, а то и больше ведер. Бывало — рассказывал мне батька...

— Чезаре, два зуппа ди вердура, две пасты и фьяску кьянти синьору и синьоре...

Рассказывал мне батька покойный, что как год на виноград урожайный, то мужики почти задарма раздавали любому вино прошлогодних запасов: принеси две четвертные пустопорожние бутылки — одну себе возьмут, другую за так тебе заполнят... Не

выливать же добро?! Только было это всё, когда я еще сопливым мальчонком был, до коллективизации и раскуркуливания, — раскулачивания, значит... Ну, а потом... Даром, что нас перед войной в казаки из мужиков переименовали, да и передали Терской области... Ну, а я года за два перед войной кончил техникум пищевой промышленности. Хотел пойти по виноделию, но меня — по комсомольской разверстке — определили по линии консервирования фруктов и овощей. Тут уж не порыпаешься...

— Чезаре, синьоров — за стол для четверых...

— На войну пошел я старшим лейтенантом, а вскоре произвели и в капитаны. Сами помните, как мы первые годы «успешно отрывались от противника», как тогда говорилось в газетах. Драпали, действительно, на совесть. Ну, и гибли тоже. Как-то прибыл я с фронта по разным там поручениям в Москву. Да и фронт-то был уже поблизости... Грязный, оборванный, но всеж-таки уже майор. Захожу в ресторан, что поприглядней. Не пускают меня...

— Синьору пива? Чезаре, синьору-тедеско бирра фредда. Нет, баварского нет. Хорошо пиво Триestino. Советую, синьор...

— Не пускают меня холуи — официанты и прочие: ресторан, мол, этот для иностранных наших гостей. Не видите, что ли, майор? Ну, тут злость меня взяла прямо за горло: «Ах, так, — кричу, — мы на фронте кровь проливаем, вшам тело наше белое скармливаем, а тут для всяких тыловых крыс котлеты с картофельным пюре и разносолы готовят?! Гады, — кричу, паразиты несчастные»... А официант мне: «Майор, не будем. Не шухерите, граж-

данин»... А я пуще разоряюсь — за душу, значит, взяло. Ну, тут официант отворотил лацкан — я и взмок: все официанты, значит, в том ресторане из органов: не ниже лейтенанта госбезопасности. Отвезли меня скорехонько куда следует, прямо под портреты усатого и Дзержинского, а там — вместо тюряги — на фронт опять, только уж в штрафной батальон рядовым: искупай вину перед родиной. А нас, штрафников, заместо свиней гоняли минные поля телами своими разминировать: пройдем, значит, подорвемся на фашистских минах, а другие спокойненько по нам пройдут. Не захотел я, значит, долго вину искупать, — подался в леса, там меня немцы и зацапали. А потом... Ну, потом всяко было: рассказывать долго. И оказался я вот тут, в горах. Народ они подходящий, женился вот здесь, и бабу свою Катей кличу — она Катарина-Анджела по-здешнему. Гладкая баба, ничего не скажешь. Теперь, к сорока, засырела на вольной еде, а в девятнадцать была как тополек — и огонь... Это я, значит, после окончания войны, иду по улицам городишки — скучаю. Всё здесь горы, — свой виноградник я и теперь, как обрабатываю, от каменюк высвобождаю — кругом они, камни эти... И вспоминаю родину, наши степи, что конца нет и краю. Был бы разве здесь, кабы не Иоська... Надо куда-нибудь притулиться, как-нибудь на хлеб промышлять. И вдруг — как судьба: гляжу: Траттория Санта Кроче, — по-здешнему я уже неплохо разбирался: тут меня и осенило: судьба! Санта Кроче, по-ихнему, Святой Крест, а я сам — из города по-старому Святого Креста. Подошел к хозяину, спрашиваю — нужен ли работник?

— Катарина, двести лир с синьора...

— Нужен, отвечает. А сам в слезы: сына-то его: на войне уцелел, а теперь вот — соперник прирезал. У них это зачастую — и чаще всего из-за бабы. Поступил я, а как умел консервировать фрукты и овощь разную, то пришелся ко двору. А там — поженились мы с дочкой хозяина. И как умер старик, всё к нам с Катей перешло. Хорошая она баба, свояская. Ну, повадился было к нам ходить тутошний поп — падре по-здешнему. Поп-то поп, да больно молодой и очень уж глаза у него кипучие — цыганские. И меня всё обхаживал, а уж с Катюши глаз не спускал. Хотел я его чудок отучить — дать ему разок по портрету, но нельзя: тут хоть и все почти коммунисты, в городке-то нашем, да только падре у них — первый человек: не поймешь тутошних: коммунисты, а никакой, значит, антирелигиозной идеологии, что ли. Так взамен его, поколошматил я крепенько Катюку — не водись с попом! Они — что коты у мясников — гладкие, аж с жиру блестят. Катя, как поучил ее, еще пуще ко мне с обожанием: ты у меня, — плачет и смеется, — сильный и ревнивый... Люблю, говорит, тебя больше жизни...

— Грация, синьор, — ох, тут, браток, много на чай не получишь, но благодарить за всё приходится...

— А поп стал меня улещивать, чтоб в их веру перешел. А за вино, значит, не платит, обычно. Я ему резоны предъявляю, — мол, траттория наша не мелкобуржуазная, а трудовая, своей семьей всё, без наемного пролетариата, а падре свое: — «Наш святой, — говорит, — рыцарь Мартын, не только вина

для служителей культа не жалел, а плащ свой напололам разрезал шашкой — и голому нищему подарил половинку». — «Зловредный тип, — говорю я падре, — был твой Мартын: только предметы портил: ну, что такое пол плаща?! Ни ему, ни нищему — только надсмешка одна: стовнял, значит, задарма плащ. А ему, как феодалу, трудно разве было бедняку цельный плащ отдать? Так нет же, порезал к чертовой бабушке товар — и отдал обрезки»... А падре сердает: — «Ты, — говорит, — безбожник». — «А ты, — отвечаю, — бабник: что ты всё на мою бабу глаза свои цыганские пялишь? Я, брат, не твой Святой Мартын: на половинки жену не разрежу»... Поп тут засмеялся в цельный рот — они тут, надо сказать, народ смешливый и веселый, не то что мы...

— Смотрите на горы? Да, красиво-то — красиво. Да что в них проку? Ведь каменюки только... Ах, наша степь! Степь наша... Помните, как у нас певали: «Полно вам, казаченьки, горе горевать»... — и эдак — цок-цок — кони по степу. Хорошо...

— Катюша, вина нам с синьбором получше. Того, что падре любит... Даю ему, все-таки, даром. Италия!

1968

СОДЕРЖАНИЕ

Парус лодочки дряхлой	5
Безсыновность	
В степи	9
Ничего особенного	13
В тайге	15
«Девять мертвых нищих старух...»	19
Углы	21
Ветер свежееет...	
«Шелестящий, шевелящий...»	25
«Вот в эту дымкую подернутую даль...»	26
«И вот когда-нибудь...»	27
«Сколько клюквенного дыма...»	28
Итальянское лето	
Мимолетности	
1. Геракл	33
2. Фреска в церкви Четырех Увенчанных	33
3. Около Пантеона	34

4. «Аполлон играет на гармошке...»	34
5. На Понте Веккио	35
6. «У моей соседки во флорентийском пансионе — ...» .	36
7. «Может разве мистика гнездиться...»	36
8. «Он возник среди башен Сан Джиминиано — ...» . .	37
9. «Тиной и рыбой несет от каналов...»	37
10. «Глоток вина, горбушка хлеба, винограда кисть — ...»	38
11. «Таксист возил меня по всем церквам Равенны» . .	38
12. «Ну, разве это готика — в Италии?! — ...»	39
13. «Разве можно пить кьянти в Риме...»	39
14. «На возглавии горы гордый замок — ...»	40
15. «И сейчас Святой Франциск проповедует птицам:...»	40
Санта Кроче	41

